

Александр Иванович Куприн

Последний из буржуев



Александр Куприн
Последний из буржуев

«Public Domain»

1919

Куприн А. И.

Последний из буржуев / А. И. Куприн — «Public Domain», 1919

«Наступили тридцатые годы XX столетия. Великая перманентная революция все еще продолжалась. Русский буржуазият приближался к полному вымиранию, побуждаемый к этому голодом, неумеренными расстрелами, а также массовыми перекочевками буржуев на советские пастбища. Живой, неподдельный буржуй стал такой же редкостью, как некогда беловежский зубр. Исчезновение этой ценной породы не шутя встревожило дальновидные государственные умы. Были изданы соответствующие декреты и приняты решительные меры...»

© Куприн А. И., 1919

© Public Domain, 1919

Александр Иванович Куприн Последний из буржуев

Наступили тридцатые годы XX столетия. Великая перманентная революция все еще продолжалась. Русский буржуазият приближался к полному вымиранию, побуждаемый к этому голодом, неумеренными расстрелами, а также массовыми перекочевками буржуев на советские пастбища. Живой, неподдельный буржуй стал такой же редкостью, как некогда беловежский зубр. Исчезновение этой ценной породы не шутя встревожило дальновидные государственные умы. Были изданы соответствующие декреты и приняты решительные меры.

Сначала постановили: считать смерть каждого буржуя, хотя и самую естественную, как гнусный саботаж и наглую контрреволюцию, отвечать за которую должны как заложники его ближайшие родственники, подлежащие за попустительство и подстрекательство немедленному расстрелу. Но потом «цик» вовремя спохватился и остановил это распоряжение. Тогда строжайше был воспрещен переход из буржуазного состояния в совдеповское. Буржуев предложили рассматривать как национальную собственность, порученную общественному попечению и присмотру подобно тому, как публичные сады в Европе.

Однако буржуи упорно продолжали свой черный саботаж, потому что умереть тогда было гораздо легче, чем выкурить папироску.

Скоро их числилось наперечет десять, потом пять, три, два, и наконец остался во всей Советской России всего лишь один бессемейный и вдовый буржуй Степан Нилыч Рыбкин, житель Малой Загвоздки близ Гатчины, бывший владелец зеленой и курятной лавки.

Именно к его-то покосившему деревянному, в три окошка, но собственному домишке с мезонином подкатил 24 декабря 1935 года щегольской «Рено», из которого вышли два красных комиссара с серьезными выражениями на умных красных лицах. Не торопясь, учтиво поднялись они на крыльцо, разделись и вошли в крошечную гостиную. Их встретил хозяин, пожилой, но еще свежий мужчина с почтенной лысиной и с проседью в окладистой бороде.

– Прошу садиться. Чем могу служить?

Комиссары сели и оглянулись вокруг: икона, освещенная зеленоватым огоньком лампы, тюлевые занавески на окнах, герань на подоконнике, клетка от канарейки, вязаная ска-терть на столе, граммофонная труба...

– Б-буржуйствуете? – слегка заикаясь, любезно осведомился первый комиссар с приятной улыбкой.

– Да так себе... помаленьку... Только, должен признаться, надоело мне это... Живешь таким отщепенцем... Хочу подать прошение о переводе в советские... в какой-нибудь комму-нальный склад или магазин... А не примут – так нам и умереть недолго. Дело дешевое.

Второй комиссар, бывший актер, испуганно замахал на него руками:

– Что вы, что вы, батенька! Вы, голубь, этим не шутите. Я женщина нервная. Нет, вкуса, нет, такой пакости вы нам, надеюсь, не учините.

– А вот возьму и учиню. Какая моя теперь жизнь? Самая пустяковая. Можно сказать, как у прицельного зайца. Была у нас здесь раньше под Гатчиной большая ружейная охота. Очень много господ из Петербурга наезжало, и с течением времени всю дичь перебили как есть. Остался наконец всего один заяц. Старый, опытный. Фунтов пять в нем, пожалуй, заячьей дробью № 3 засело, а все бегал. Удачливый какой-то был заяц. Так охотники под конец положили уговор: зайца этого не убивать, а стрелять мимо. Для прицела, значит, и для волнения.

Съедутся они, бывало, в воскресенье, разбредутся по кустам и палят целый день в зайца. А он знай себе шмыгает между ними по полю. Так осмелел, подлец, что иной раз сядет против стрелка на задние лапки, а передними мордочку трет. А тот в шагах десяти, патрон за патроном...

– В-вы это к ч-ч-чему же?

– К тому, что и моя жизнь на манер этого зайца выходит. Жаловаться не могу, живу без обиды. Однако трудно мне. Как только революционный день какой, в июле там, или, примерно, в октябре, или опять-таки в день рождения Карла Радека, в именины Стеклова – обязательно к нам в Загвоздку тьма-тьмущая народу. Не только из Петербурга – из Москвы приезжают. Запрудят все улицы. Ни проезду, ни проходу. Круглые сутки толпятся у меня под окнами и орут: «Смерть буржуазии! Да здравствует диктатура пролетариата!» Речи говорят с моего крыльца... Каждый раз все одно и то же... Скучно... А то из револьверов начнут стрелять. Целую ночь палят. Индо голова от трескотни вспухнет. Я, конечно, знаю, что палят мимо, в воздух. Но, однако, в день бракосочетания писателя Ясинского все-таки стекло на чердаке продырявили.

– Ук-кажите нам этого прохвоста. Мы его с-самого проды-ды-дырявим.

– А ну его, дурака... Не стоит. Но, вообще говоря, это буржуйное ремесло мне, товарищи, надоело. Не желаю я больше. Не могу. Не хочу. Примите меня куда-нибудь. Прошу вас покорнейше. Покорнейше вас прошу. Хоть в чрезвычайку, что ли...

– Да ведь, роднуша, какие теперь чрезвычайки? Там, дорогуля, никакой нет работы. Дуют весь день в очко и читают Ната Пинкертона, а упражняются только на деревянных манекенах, чтобы злобность не потерять. Оставайтесь, миловида, оставайтесь у нас по-прежнему в буржуйках. Мы ли вас не холим? Мы ли вас не лелеем? Хотите, мы вам домик поуютнее присмотрим? В Стрельне... можно и в красном Питере... Желаете, ангел, – даже и с прислугой можно...

– Нет уж, куда нам, – угрюмо бурчит Рыбкин.

– Авто-то-то-томобиль?

– Не надо.

– Может быть, вы, прелестнечек, пайком недовольны?

– Жаловаться не могу. Провизией доволен. На днях индейку прислали, икры фунт, окорочок, красного вина три бутылки... А все не то... Не играет сердце... Тоскую...

– А что, товарищ, не жениться ли вам? Для расп-п-лоду? А?

– А и взаправду, голуба! Это мысль! Хотите, женим? Не бойтесь, не по-совдеповски – как прежде, по-церковному. Попа вам выпишем из-за границы... настоящего. Дадим ему охранную грамоту туда и обратно... Хотите, жизнечек?.. А? Мигом споровим. Не успеете оглянуться... Ну, конечно, не без маленькой враждебной демонстрации... Пошутим немного, помитингуем... Ведь не привыкать стать, вкуснячка?..

Рыбкин отвернулся к окну и устало махнул рукой:

– Оставьте... бросьте... Скучно все это... Надоело... Да и вообще, оставили бы вы меня в покое. Ну зачем я вам?

Комиссары, вероятно уже в сотый раз, стали объяснять ему всю важность его службы при перманентной революции. Во-первых, необходим же пролетарским массам живой объект для очередного излияния священного народного гнева. Во-вторых, классовая борьба, в которой обретешь ты право свое... Где же мы найдем этот враждебный класс, если последний буржуй сбежит или сдастся и бороться будет больше не с кем? Что, наконец, скажут о России международные товарищи? Что подумают иностранные корреспонденты? Нет, товарищ Рыбкин, оставайтесь на вашем славном посту. Не губите дела революции... Актер говорил так убедительно, что даже слезы заструились по его жирной, бритой щеке...

Степан Нилыч лениво подпер ладонью голову, покачал ею и вздохнул:

– Ладно уж... Не плачь... Жалко мне тебя. Послужу еще с годик, а там увижу. Ведь это я так только – раскис сегодня немного... Сидел тут один и раздумывал... Вот, думаю, прежде у людей елка была... детишки... свечей много... золото сусальное блестит... бусы качаются... смолой пахнет... И так грустновато мне стало... Ну, ничего... Обойдется...

Товарищи комиссары переглянулись и тотчас же стали прощаться. Казалось, одна и та же мысль промелькнула одновременно в умах обоих. В передней они крепко пожимали руку хозяина. За дверями на улице стояли в синих снежных сумерках фиолетовые деревья.

Проводив гостей, Степан Нилыч сходил по привычке на то место, где раньше была церковь. Постоял там минут двадцать. Пробовал вспомнить рождественские ирмосы, но не мог... Память заржавела. Потом зашел к куму, коммунальному сапожнику, посидел у него часа полтора. Заглянул в какие-то брошюры, валявшиеся на окне, но наткнулся на знакомые, опровергшие слова о гибели буржуазного строя и бросил. Обоим хотелось поговорить о прежнем, тогдашнем, но за стеной жил ЧК и был, на несчастье, дома.

Когда Рыбкин подходил к своему дому, то еще издали его поразил необыкновенно яркий свет, лившийся из окон на снег в палисаднике и на голые черные деревья. Посередине комнаты стояла небольшая елка, вся сиявшая маленькими теплыми огоньками. Золотые и серебряные украшения весело поблескивали. Тут висели, подрагивая и чуть раскачиваясь, миниатюрные гильотинки, изящные модели виселиц, топоры и плахи, серпы и молоты и другие революционные игрушки и эмблемы. Одна свечка слегка подкоптила еловую хвою, и так приятно пахло дымком.

– В борьбе обретешь ты право свое, – пролепетал Рыбкин и заплакал.

Заплакал от горя и умиления.

Декабрь 1919 г.